

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	6
Исповедь отщепенца	7
В медвежьем углу	18
В столице истории	54
Первый бунт	96
Армия	132
Война	156
Мир	182
Юность коммунизма	212
Переходный период	237
Мое государство	282
Жизненный эксперимент	300
«Зияющие высоты»	344
Послесловие	381

*Моей матери
Зиновьевой Аннолинарии Васильевне,
великой русской женщине,
посвящаю эту исповедь*

Предисловие

Эта книга была написана в 1988 году и опубликована во Франции и Швейцарии в 1990 году. Здесь она печатается с некоторыми сокращениями и исправлениями. Хотя книга писалась в то время, когда в Советском Союзе уже началась перестройка, я сознательно избегал говорить на эту тему. Цель книги была (по договоренности с издателем) описать, почему я стал писателем, автором «Зияющих высот», и почему оказался в изгнании на Западе. Фактически книга вышла далеко за рамки этой цели: она оказалась описанием того периода русской истории и тех явлений русской жизни, в которых вырвалась перестройка.

Еще в довоенные годы я, скрываясь от всемогущих органов государственной безопасности, в состоянии полного отчаяния сочинил такое стихотворение:

Настанет Страшный суд. Нас призовут к ответу.
Велят заполнить за прожитое анкету.
И в пункте, из какой земли и из какой эпохи,
Двадцатый век, Россия, — будут наши вздохи.
От слов от этих Богу станет гадко.
Опять проклятая российская загадка!
Нельзя пускать их в рай, двух мнений нету тут.
Их души тяжкий грех в себе несут.
Но как же быть?! В какой впустить их край?!
После России им и ад покажется как рай.

Прошло почти шестьдесят лет после этого. Но я и сейчас взял бы это юношеское стихотворение эпиграфом к этой книге.

Мюнхен, 1998

ИСПОВЕДЬ ОТЩЕПЕНЦА

Исповедь

Существуют различные формы мемуаров. Среди них можно выделить одну, которую можно назвать словом «исповедь». От других форм она отличается тем, что главным предметом внимания являются не приключения автора, а его размышления и переживания, и не хроникальное описание отдельных событий, а анализ потока жизни, в который был вовлечен автор.

Исповедь не есть автобиография, написанная для каких-то официальных и справочных целей. Не все, что случилось с автором, попадает на ее страницы. А то, что попадает, описывается не всегда в том виде, в каком это мог бы и хотел бы увидеть посторонний наблюдатель, и без тех пикантных деталей, какие любопытно было бы узнать читателю. Это происходит не потому, что автор хочет избразить себя в наилучшем виде или ввести в заблуждение читателя, а в силу особенностей самой формы исповеди. В моей исповеди, в частности, сыграли роль такие сдерживающие причины.

В моей жизни случались события, о которых я не буду рассказывать никому и никогда. Часть из них касалась не только меня, но и других. Я связан по отношению к ним обетом молчания и священной тайны. О других мне больно или стыдно вспоминать. Я умалчиваю о них не из страха показаться грешником. Такого страха у меня нет. Я готов признать греховность всей моей прожитой жизни. И упоминание о нескольких мелких грехах вряд ли изменило бы общее впечатление. Я умолчу о таких грехах из чисто вкусовых соображений. Я считаю просто неприличным говорить о них, как считаю неприличным рассказывать о приключениях в туалете или в кровати. Если хотите, я просто старомоден, причем из принципа.

Мне часто приходилось наблюдать и испытывать на себе проявление самых гнусных качеств человеческой природы. Многие люди причиняли мне зло. Я очень рано постиг, что именно имел в виду Лермонтов, когда в одно из самых прекрасных в русской литературе стихотворений включил слова «друзей клевета ядовитая». Но сам я не рассматривал в качестве личных врагов даже тех, кто по долгу службы или по призванию писал на меня доносы, клеветал, преследовал, чинил всяческие неприятности. Я никогда на личное зло не отвечал злом. Я знаю, что самим фактом своего существования и деятельности я вызывал раздражение и негативные эмоции у многих людей. Но этот аспект жизни не подлежит моральной оценке. Я всегда смотрел на зло, причиняемое мне людьми, как на проявление

ние свойств самого строя жизни людей, использующего их лишь как свои орудия. В противоположность тем, кто персонифицирует социальные причины, я впал в другую крайность — социализировал даже такие поступки людей, которые были продиктованы индивидуальными страстями. Моим главным контрагентом с ранней юности была социальная система моей страны. И лишь во вторую очередь моими контрагентами были люди, олицетворявшие систему.

В моих личных отношениях с людьми я стремился предоставить им все преимущества. Так и в этих мемуарах я не хочу изображать себя в качестве доброй жертвы злых людей и плохих обстоятельств. Наоборот, я готов признать себя негативным явлением в породившем меня позитивном социальном окружении. Я готов признать нормальным мое социальное окружение, а себя — отклонением от нормы. Я не горжусь этим, но и не сожалею о том, что так произошло. Как в прожитой жизни я уступал дорогу всем, кто считал, что я мешаю им идти, и избирал другой путь, на который не претендовал никто, так и в этих мемуарах я не хочу сводить счеты с теми, кто причинял мне зло. А это и означает умолчание о многом таком, что могло быть поводом для мести. Исповедь есть признание и покаяние, но не месть. Конечно, я не мог полностью избежать такого рода описания, так как без этого были бы непонятны некоторые важные явления моей жизни. Но я свел их к минимуму и лишил их драматического смысла, какой они имели в свое время.

Отношение к фактам личной жизни

Я никогда не думал, что факты моей личной жизни могут для кого-то представлять интерес, кроме разве что советских карательных органов и лиц, желающих причинить мне зло. Поэтому я никогда не стремился афишировать их и даже запоминать. Многие из этих фактов были такого рода, что память о них причиняла страдания, и я преднамеренно стремился забыть о них. Я избегал засорять память незначительными пустяками, какими мне казались явления моей личной жизни, полагая, что мои интеллектуальные возможности я мог использовать для дел гораздо более важных. То, что так или иначе оседало в моей памяти, касалось в основном не лично меня, а окружающих меня социальных феноменов. Постепенно это стало чертой моего литературного и вообще жизненного вкуса. Мелочный педантизм в отношении к фактам личной жизни стал вызывать у меня отвращение при чтении сочинений других авторов, и я перенес это на самого себя.

Общезвестно, что память человека не подчиняется правилам логики. Она не классифицирует события его жизни как существенные и несущественные и не отдает предпочтения первым. Я, например, помню до сих пор номер телефона, по которому мне пришлось

звонить первый раз в жизни еще в 1933 году, но не помню номер телефона своей собственной квартиры, в которой жил много лет в Москве. Я помню номер винтовки, которую мне вручили в 1940 году в армии, но не помню названия и расположения населенных пунктов, в которых мне приходилось бывать во время странствий в 1939-1940 годах. Я помню имя коня, которого мне дали по прибытии в кавалерийский полк. Но я не смог в течение многих месяцев, пока писал книгу, вспомнить имя парня, с которым делился куском хлеба и сокровенными мыслями и который доносил обо мне в Особый отдел полка. Так что если строго следовать тому, что застряло в памяти, то объективная картина жизни не может получиться даже при наличии искреннего намерения быть объективным. Потому систематизированный анализ прошлого с точки зрения конечных результатов жизни мне представляется более надежным средством объективности, чем фрагментарное припоминание разрозненных деталей потока жизни.

Кроме того, у меня есть и принципиальное соображение относительно отбора фактов личной жизни для предания их гласности. Оценка фактов жизни как значительных или незначительных зависит не столько от того, какую роль они на самом деле сыграли в жизни автора, сколько от того, какой вес им придается общественным мнением в нынешней ситуации. Если автор поддается влиянию общественного мнения, он так или иначе вынуждается на путь создания ложной картины своей собственной жизни. Например, я очень рано стал антисталинистом. Разумеется, мне было кое-что известно о сталинских репрессиях в то время. Но не так уж много. Основная информация об этом стала доступной лишь в постсталинские годы, когда мой антисталинизм потерял для меня смысл. Зная, какое значение сейчас придается этим репрессиям в описаниях советской истории и советского общества, я мог бы на эту тему написать много десятков страниц. И тогда для читателей мой антисталинизм сегодня показался бы совершенно обоснованным, само собой разумеющимся. Но это была бы грубая историческая ложь. В формировании моего антисталинизма факты репрессий не играли почти никакой роли. Я был сам подвергнут репрессии за мой антисталинизм, сложившийся совсем по другим причинам. Те гонения, которым я подвергался за мой антисталинизм, не добавили абсолютно ничего нового в мои умонастроения. Более того, я не воспринимал их как несправедливость. Факты личной жизни, способствовавшие формированию моих антисталинистских умонастроений, в глазах современного общественного мнения выглядели бы настолько ничтожными, что упоминание о них вызвало бы лишь недоверие и насмешку. Кто, например, примет всерьез то, что моя фамилия — Зиновьев — внесла свою долю в это. Меня за нее в детской среде постоянно называли «врагом народа», вынуждая уже в детских играх на

роль человека, противостоящего коллективу и всему обществу. В реальной истории порою огромные причины проявляются в ничтожных фактах, а грандиозные факты проявляют ничтожные причины.

Отношение к бумагам

Я никогда не вел дневников и не хранил личных документов, кроме самых необходимых. Порою я оказывался в ситуациях, когда касающиеся меня документы исчезали или мне самому приходилось уничтожать их или фальсифицировать, чтобы уцелеть. Я не был уверен в том, что прожизну достаточно долго. Было несколько случаев, когда моя жизнь могла оборваться помимо моей воли. Да я и сам не раз задумывался над тем, чтобы покончить с жизнью, становившейся тогда невыносимо тяжелой и терявшей всякую ценность. Мне тогда грезилась мрачная картина, как после моей смерти чужие люди выбрасывают на помойку оставшийся от меня бумажный хлам, и эта картина удерживала меня от накопления бумаг всякого рода. К тому же мне время от времени приходилось уничтожать накапливавшиеся рукописи в интересах самосохранения. Тот архив, который все-таки образовался у меня в Москве, был главным образом научно- и литературного характера. Он частично пропал, частично попал в лапы органов государственной безопасности, частично оказался так хорошо спрятанным, что я лишился доступа к нему.

Моя жизнь складывалась так, что я чуть ли не до пятидесяти лет не имел не то что своего рабочего кабинета, но даже письменного стола. Принцип «все мое ношу с собой» был для меня не фигуральным латинским изречением, а практическим правилом жизни. Я воспринимал свою жизнь как непрерывный поход. Каждая вещь, которая мне не казалась жизненно необходимой, действовала на меня как излишний груз, и я безжалостно расставался с нею. Это целиком и полностью относилось и к бумагам. Порою это даже принимало патологические формы. Однажды я был в гостях у моего знакомого, опубликовавшего несколько статей и брошюру по социологии. Он мне показал шкафы, битком набитые документальными материалами, которые он собирал в течение многих лет и на основе обобщения которых сочинил свои статьи и брошюру. Вернувшись домой, я уничтожил до последнего листочка все те материалы, которые я собирал, работая над своей социологической теорией. На другой день я пожалел об этом: кое-какие материалы пришлось добывать заново, причем уже с гораздо большими усилиями.

При написании этой книги я использовал свою память и мои собственные опубликованные сочинения, написанные точно так же по памяти. Публикуя их, я никогда не претендовал на то, чтобы занять какое-то место в бесчисленной армии советологов, политологов, социологов и прочих лиц, так или иначе занятых проблемами

советского общества и вообще коммунизма. Я просто сообщал моим потенциальным читателям то, что мне в течение моей жизни удалось лично узнать о советском обществе и коммунизме, наблюдая и изучая его непосредственно, как эмпирически данное явление. Поэтому в моих книгах и статьях полностью отсутствует то, что в науке принято называть «научным аппаратом» и что должно свидетельствовать об эрудиции и компетентности автора. Я это делал не из пренебрежения к другим авторам, писавшим на темы о коммунизме, а просто в силу условий моей жизни и работы, далеко не благоприятных для научного педантизма. Я просто не имел возможности обзавестись таким «научным аппаратом». Да он мне и не требовался. Во время жизни в России материал для наблюдения был в изобилии перед моими глазами. Работы других авторов, которые мне приходилось читать, ничего не давали мне для понимания этого материала или даже мешали, отвлекая внимание в направлении проблем, чуждых изучавшемуся мною материалу.

В этой книге точно так же будут отсутствовать ссылки на источники и документы, обычные в мемуарной литературе. Это, конечно, большой недостаток книги. Но я, к сожалению, не мог его избежать. Я не смог даже воспользоваться теми, касающимися меня материалами, которые появлялись в западной прессе. Ко мне приходила лишь часть из них, а я не прилагал усилий к тому, чтобы приобретать другие. На обработку их потребовалось бы время, какого у меня не было. К тому же мое собственное понимание мотивов и характера моей деятельности лишь в исключительных случаях и лишь отчасти совпадало с тем, как об этом писали мои критики. А вступать в самозащитную полемику с ними было бы равносильно тому, чтобы заново переписать мои книги: яснее и проще писать я уже не способен.

В глубине и за кулисами истории

Моя жизнь не годится для обычных мемуаров еще и по той причине, что я никогда не занимал высоких постов. Когда мне предоставлялась возможность подняться хотя бы на одну ступеньку иерархической лестницы, я отказывался от этого сам или меня сбрасывали с нее вниз, видя во мне отсутствие некоей субстанции власти или наличие чего-то ей противоположного. В армии меня избегали повышать в должности, так как я подавал команды, как «гнилой интеллигент» (так оценил мое командование командир полка), хотя в других отношениях я был образцовым солдатом и офицером. Во мне все противилось тому, чтобы навязывать свою волю другим. Я не мог наказывать провинившихся подчиненных, скрывал их проступки и часто делал за них сам то, что они были обязаны делать. Я согласился стать заведующим кафедрой в университете лишь на том условии, что всеми административными делами будет заниматься мой замес-

титель. Я вздохнул с облегчением, когда меня освободили от этой должности. В начале войны случайно получилось так, что меня вытолкнули на роль командира отряда из нескольких десятков человек. Это произошло потому, что я был единственным, кто не снял знаки отличия командира (я был сержантом). Я чувствовал себя прекрасно, пока надо было решить «шахматную» задачу, т.е. наилучшим образом выполнить задание — выбить немцев с территории, где находилась база горючего, и поджечь эту базу. После выполнения задания инициативой овладел какой-то ловкий проходимец, и я не стал с ним конкурировать. Очевидно, мой индивидуализм с самого начала жизни был настолько глубоким, что исключал стремление к подчинению других людей.

Я всегда был образцовым учащимся, служащим и работником не из желания повысить мою социальную позицию, а из повышенного чувства собственного достоинства. Последнее проявлялось не только в позитивной, но и в негативной форме, например в бешеных вспышках, когда кто-нибудь пытался меня унижить или навязать мне свою волю, не связанную со служебными обязанностями или превышающую меру деловых отношений. Эту черту моего характера замечали сразу и избегали повышать и вообще как-то улучшать мой социальный статус.

Мои встречи с историческими личностями либо не состоялись совсем, либо были до анекдотичности короткими. О Ленине я узнал, когда его уже не было на свете. О Сталине я узнал рано. К семнадцати годам у меня созрело страстное желание повидаться с ним, но с целью выстрелить или бросить бомбу в него. Но наша встреча не состоялась по причинам чисто технического порядка: не было пистолета и не было бомбы, а минимальное расстояние до Сталина, на которое я мог быть допущен, исключало возможность использования пистолета и бомбы, если бы они были. Уже после войны маршал Ворошилов пожал мне руку среди других офицеров, случайно оказавшихся на его пути. Мое лицо показалось ему знакомым, и он спросил меня, где мы встречались раньше. Я ответил, что мы вместе служили в Первой Конной армии в Гражданскую войну. Маршал сказал мне, что я — молодец, и велел и дальше служить так же. За эту шутку я получил пять суток ареста.

После демобилизации из армии я как-то помогал отцу красить здание ипподрома. Ипподром посетил другой маршал (как видите, мне везло на маршалов) — Буденный, заведовавший всем, что было так или иначе связано с лошадьми. Он тоже жал мне руку среди прочих маляров. И ему тоже мое лицо показалось знакомым. Я сказал, что до войны служил в такой-то кавалерийской дивизии, которую Буденный тогда посетил. И это было правдой. И этот маршал тоже сказал мне, что я — молодец, и велел и дальше служить так же. Маршал приказал выдать нам, малярам, водки. Выпив даровую водку, маляры добавили еще от себя. Мы с отцом в оргии не участвовали, и

это нас спасло. Упившись до потери чувств, маляры устроили пожар. Здание ипподрома сгорело дотла. Виновных судили. На месте сгоревшего деревянного здания построили новое в духе «архитектурных излишеств» сталинской эпохи.

Однажды вечером я проходил по улице Дзержинского мимо главного здания КГБ и чуть было не налетел на Ю.В. Андропова — его охрана почему-то проглядела меня. Андропов в испуге спрятался в свою машину. А меня потом несколько часов с пристрастием допрашивали, кто я такой и с какой целью оказался в этом месте. Один из близких людей Андропова рассказал мне уже после опубликования «Зияющих высот» и «Светлого будущего», будто Андропов читал и перечитывал мои книги и будто благодаря ему меня не посадили на двенадцать лет (семь лет лагерей и пять лет ссылки), на чем якобы настаивал Сулов. Я допускаю такую возможность. Но я не усматриваю проявления гуманизма в том, что меня выбросили из страны и вычеркнули мое имя из советской науки и литературы.

Трижды встречался с Молотовым. После его падения, конечно. Один раз я стоял с ним рядом в очереди за молоком в продуктовом магазине на улице Волхонка, где находился мой институт. Другой раз сидел неподалеку от него в профессорском зале Библиотеки имени Ленина. Третий раз стоял в коридоре в группе других читателей, разговаривавших с ним. Разговор мне показался банальным и скучным. Я в нем участия не принял. И вообще я заметил, что лица, потерявшие свои прежние высокие позиции, становятся чрезвычайно серыми, пустыми, скучными. Вернее, не становятся таковыми, а обнаруживают себя в качестве таковых. Вот, пожалуй, самые значительные мои встречи с сильными мира сего, которыми я могу похвастаться. Были и другие встречи, но менее значительные, чем эти.

Я нисколько не жалею о том, что не был близок с «королями» советского общества и не был вхож в их дома. Я всегда относился к ним с презрением, считая их лишь объектом для сатиры. Самые значительные с точки зрения ума, талантов и нравственности личности, с которыми мне приходилось встречаться в Советском Союзе, либо погибли, либо потерпели крах при попытках добиться жизненного успеха, либо сознательно и добровольно застряли на низших ступенях социальной иерархии. Те же из моих знакомых, которые там преуспели, и те преуспевшие личности, с которыми меня там сталкивала судьба, были ничтожествами в отношении именно ума, талантов и нравственности. Поэтому я не собираюсь прилагать особых усилий к тому, чтобы припомнить, когда, при каких обстоятельствах и с какими партийными и государственными чиновниками меня сталкивала судьба.

Имена многих из них стали мелькать в прессе. Но эти люди все равно не выросли в значительные личности, которым стоило бы посвятить особые главы в воспоминаниях. Они сообща дали мне много материала для обобщенных литературных персонажей. Но каждый

из них по отдельности не дал мне материала даже для одной страницы индивидуализированного описания. Они суть элементы массовых явлений. И в качестве таковых они могут быть описаны лишь средствами, адекватными именно массовым явлениям. Сколько я ни приглядывался к ним, я не замечал значительной разницы между ними, как не замечал разницы между клопами, забившимися в щели деревенского деревянного дома. У меня свои критерии измерения значительности личностей, не совпадающие с общепринятыми.

В жизненном потоке есть глубинные и есть поверхностные явления, есть скрытый ход истории и есть пена истории. Волею обстоятельств я оказался погруженным именно в скрытый и глубинный поток советской истории, дающий мало красочного материала для литературы приключенческо-мемуарной. Моя жизнь оказалась настолько тесно связанной с глубинными процессами формирования коммунистического социального строя в моей стране, что я крупнейшие события советской истории переживал в гораздо большей мере как события личной жизни, чем свои собственные индивидуальные приключения. Я не играл никакой исторической роли. Зато все, что происходило со мною, было частичкой огромной истории, причем истории настоящей, а не фиктивной, раздутой из ее пены тщеславными клоунами и интерпретаторами их клоунады. Главным в моей жизни стал не внешний ее аспект, а внутренний, т.е. осознание и переживание великого исторического процесса, происходившего на моих глазах. Мне с этой точки зрения повезло. Не стремясь и не будучи допущен на открытую арену истории, на которой кривлялись «великие» клоуны, я имел почти неограниченный доступ в закулисную жизнь и в преисподнюю истории. Я имел уникальную возможность наблюдать внутренние механизмы советского общества во всех существенных его аспектах и на всех уровнях социальной иерархии. При этом мое понимание этого общества формировалось не в результате изучения теорий, уже созданных другими авторами. Оно протекало как моя индивидуальная жизненная драма, как жизнь первооткрывателя сущности и закономерностей нового исторического феномена. Так что моя жизнь была по преимуществу интеллектуальной, более соответствующей именно форме исповеди.

Я сам себе государство

Если у меня и были какие-то возможности вылезти на сцену истории в более или менее заметной роли, я их упустил преднамеренно. Я с детства ощущал в себе что-то такое (не нахожу этому названия), что сместило мои оценки явлений жизни и мои интересы в сторону от общепринятых норм на этот счет. В юношеские годы это самоощущение я выразил для себя в формуле «Я сам себе Сталин». Перед демобилизацией из армии я имел беседу с генералом

Красовским, ставшим впоследствии маршалом авиации. Он уговаривал меня остаться в армии, хотя в то время из армии увольнялись многие тысячи гораздо более заслуженных и ценных летчиков, чем я. Уговаривал, потому что я был единственным, подавшим рапорт с просьбой демобилизовать меня, тогда как прочие летчики хотели остаться в армии. Он сулил мне в будущем чин полковника и даже генерала. Я сказал ему, что мне этого мало. Он спросил меня удивленно, чего же я хочу. Я ответил, что хочу выиграть свою собственную историческую битву. Не знаю, понял он смысл моих слов или нет, но приказ о моей демобилизации подписал тут же.

Позднее я выразил это мое самоощущение формулой «Я сам себе государство». Такая ориентация сознания, конечно, повлияла существенным образом на весь ход моей жизни, сделав главным в ней события и эволюцию моего внутреннего государства, моей внутренней вселенной. Наверняка найдутся знатоки человеческой психологии, которые усмотрят в таком «повороте мозгов» психическую ненормальность. Не буду спорить. Напомню только о том, что человек выделился из животного мира благодаря каким-то отклонениям от биологических норм. Вся история цивилизации обязана своим прогрессом людям, которые были отклонением от общепринятых норм. И все же мы не рассматриваем эволюцию человечества в понятиях медицины. Мое внутреннее государство было не плодом больного воображения, не проявлением эгоизма и эгоцентризма. Оно было явлением социальным, а не психологическим. Оно было формой отказа от борьбы за социальный успех. Потому на этом пути меня не мог удовлетворить никакой высокий пост, включая президентов, генеральных секретарей и королей, не могло удовлетворить никакое богатство, никакая слава.

Не знаю, как у других народов, но среди русских такой тип людей, которые фактически ведут себя по формуле «Я сам себе государство», встречается довольно часто. Эти люди живут так, как будто весь остальной мир есть лишь природная среда их существования. Они в этой среде добывают средства жизни, а живут в основном в своем маленьком замкнутом мирке. В отличие от этих людей, я жил в огромном и открытом мире. Я построил целую теорию человека-государства и сделал попытку осуществить ее на уровне высших достижений цивилизации. Но начал я, как и многие другие мои соплеменники, с самого низкого уровня. Во время скитаний в 1939-1940 годах я мечтал поселиться где-нибудь в глуши и прожить жизнь каким-нибудь пасечником, сторожем, лесником или охотником. Такие порывы уйти от городской жизни в лесную и деревенскую глушь появлялись у меня и в студенческие годы после войны. Но уже в довоенные годы я заметил, что жизнь в уединении, о котором я тогда мечтал, возможна лишь в книгах и в кино. В реальности же она возможна только ценой полной интеллектуальной и моральной деградации. Для человека такого типа, как я, суверенное личное государ-

ство было возможно лишь в самом бурном потоке жизни. В этом состояла трудность проблемы. Я не утверждаю, что я эту проблему решил. Я лишь утверждаю, что всю свою сознательную часть жизни бился над ее решением.

Социальный отщепенец

В Советском Союзе то положение, в котором я оказался в результате следования своим жизненным принципам, называют словом «отщепенец». На западные языки это слово переводится словами, неадекватными советскому словоупотреблению. Поэтому я поясню его новый, понятийный смысл.

Отщепенцами в Советском Союзе называют лиц, которые по тем или иным причинам вступают в конфликт со своим коллективом и даже с обществом в целом, противопоставляют себя им и оказываются исключенными из них. Социальным отщепенцем является такой отщепенец, который обрекается на эту роль по причинам глубоко социального характера, т.е. в силу его взаимоотношений с социальным строем страны, с ее системой власти и с идеологией. Социальный отщепенец является одиночкой, бунтующим против своего социального окружения. За это он наказывается либо уничтожением в качестве гражданской личности, либо подвергается ostracism. Отщепенцами люди становятся отчасти помимо воли — общество само выталкивает их на эту роль. Отчасти они становятся таковыми добровольно, в силу жизненного призвания. Общество борется с отщепенцами. Но оно вместе с тем нуждается в них и производит их более или менее регулярно. Оно производит их для того, чтобы они сыграли роль, которую не хотят и не могут играть другие, «нормальные» люди. Эта их роль есть часть объективного механизма самосохранения общества. Обществу отщепенцы требуются, но лишь в малом количестве и лишь на короткий срок. Требуются для того, чтобы они выполнили самую опасную и неблагодарную работу. Требуются также для того, чтобы превратить их наказание за это в своего рода ритуальное жертвоприношение, имеющее целью использование результатов их деятельности и воспитание других.

Процесс превращения человека в отщепенца есть более или менее длительный процесс. Общество сначала принимает меры, чтобы помешать превращению человека в отщепенца, и это ему обычно удается. Лишь в исключительных случаях усилия такого рода оказываются тщетными, и тогда общество само провоцирует отщепенца на явный личный бунт и обрушивает на него всю мощь своей власти и ненависти.

Я рос и созрел духовно вместе с превращением коммунистического социального строя в моей стране в зрелый социальный организм. В этом процессе возник, рос и вырос мой конфликт с

моим обществом, мой личный бунт в нем и против него, который привел к тому, что я был выброшен из моей страны и отторгнут от моего народа. В моей исповеди я хочу объяснить, в чем именно состоял мой бунт, как он протекал и чем кончился. Мое положение здесь подобно положению ученого-врача, заболевшего новой, еще не изученной неизлечимой болезнью и использующего представившийся ему уникальный случай описать возникновение и ход болезни на самом себе.

Общество неуклонно само выталкивало меня в отщепенцы. Но я не был пассивной игрушкой в его руках. Я, как и все, был подвержен влиянию обстоятельств. Но в гораздо большей мере я противился обстоятельствам, всю жизнь упорно шел против потока истории. Я сам творил себя в соответствии с идеалами, которые выработал сам. И в этом смысле я есть самодельный человек. Я всю свою жизнь ставил на самом себе эксперимент по созданию искусственного человека моего собственного образца. Моя исповедь есть также отчет об этом эксперименте. Хотя я и не могу похвастаться тем, что довел мой эксперимент до успешного конца, но думаю, что для одиночки, который шел против всего и против всех, я сделал все-таки достаточно, чтобы иметь моральное оправдание для предлагаемой вниманию читателя исповеди.

В МЕДВЕЖЬЕМ УГЛУ

От Пахтино до Нью-Йорка

Находясь на Западе, мне приходилось десятки раз летать по всему белу свету. И каждый раз я подолгу разглядывал географические карты в бортовых журналах. Я находил Москву, затем города Загорск, Александров, Ростов, Ярославль, Буй, Данилов и Галич, расположенные на железнодорожной магистрали Москва — Владивосток. За Галичем расположена маленькая железнодорожная станция Антропово, которую не найдете на карте. На север от Галича на карте можно увидеть небольшое озеро. На берегу его расположен городок Чухлома, тоже не обозначенный на карте. Примерно посередине между Чухломой и станцией Антропово когда-то находилась маленькая деревушка Пахтино. В этой деревушке я родился 29 октября 1922 года. Я мучительно вглядывался в карты и видел эту деревушку так отчетливо, как будто только сейчас покинул ее. Видел дома, поля, леса, ручьи. Видел людей. Видел даже коров, овец и кур. А ведь ничего этого давно нет. И никогда не будет. В русской истории вообще мало что сохранялось. Моя жизнь в этом отношении была вполне в ее духе. Почти все, где я бывал, куда-то исчезало. Я часто мечтал вернуться в прежние места и увидеть наяву что-то знакомое и пережитое. А возвращаться было либо не к кому, либо некуда. До войны я не раз ходил пешком от станции Антропово до своего Пахтино. На пути были деревни, обработанные поля, церкви. В 1946 году после демобилизации из армии я последний раз прошел этот путь пешком. Почти ничего не осталось. На месте деревень — развалины домов. Как будто именно тут была война. Поля заросли лесом. И не встретил ни одного знакомого человека. Ни одного!

Я вглядывался в то место на картах, где когда-то находилось мое Пахтино, и удивлялся тому, что меня не удивлял скачок из малюсенькой русской деревушки в многомиллионные современные города Париж, Лондон, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Токио, не удивлял скачок от старой клячи по имени Соколка, на которой я ездил верхом мальчишкой и возил навоз в поле в колхозе, к современному самолету «Боинг-747», который переносил меня за несколько часов с одного континента на другой.

— Вот ты летишь из Мюнхена в Нью-Йорк, — говорил я себе. — Прекрасный самолет. Прекрасное обслуживание. Вино. Фильм. Музыка. Еда такая, какая тебе не снилась в молодые годы. И такой порции тебе тогда хватило бы на неделю. Несколько часов, и ты — на другом континенте. Поразись этому чуду прогресса!

— А зачем мне Нью-Йорк? — возражал я сам себе. — Какая не-легкая сила несет меня туда? Посмотреть на статую Свободы, кото-рая, на мой взгляд, есть верх безвкусицы? Побродить по Манхэттену? Побывать на Уолл-стрит? Как говорят в России, видал я это все в гро-бу в белых тапочках. Несет меня в Нью-Йорк не любопытство к нра-вам и обычаям на другом континенте и не интерес к красотам «ка-менных джунглей», а обыкновенная нужда: прочитать какие-то лек-ции и заработать на жизнь.

— Но все-таки чудо прогресса то, что европеец может слетать в Америку, прочитать лекцию и получить за это какие-то деньги. По-том ты полетишь с такими же лекциями в Чили и Бразилию. Весь мир в твоём распоряжении.

— Пусть так. Но ведь у всего этого есть и обратная сторона. А по-чему я не могу заработать на жизнь там, где живу, а должен тащить-ся за тридевять земель, где я не живу и жить не хочу? А «весь мир» те-перь стал маленьким и тесным.

— Но не будешь же ты отрицать технический прогресс! Возьми те же компьютеры...

— Мир не стал от них умнее. Прошлый век был умнее нашего, а будущий будет еще глупее. Ребенок, умеющий обращаться с компь-ютером, но не знающий таблицу умножения, есть признак деграда-ции. Ко всему прочему в мире исчезли тайна и святость. Мы превра-щаемся в умную машину, состоящую из глупцов и служащую еще бо-лее глупым ловкачам.

— Что поделаешь! Прогресс в одних отношениях всегда сопро-вождается регрессом в других отношениях. За прогресс приходится расплачиваться. Вот ты сейчас отказался бы от результатов прогрес-са, которыми ежедневно пользуешься? Сменял бы ты этот «Боинг-747» на своего пахтинского Соколку? Если мне не изменяет память, ты еще в 1941 году начал летать на самолетах — предшественни-ках современных. Будущее все равно принадлежит Нью-Йорку, а не твоему исчезнувшему Пахтино. Ты просто к старости становишься консерватором.

— Ты меня словом «консерватор» не обидишь. Когда в мире все становятся сторонниками прогресса, то самым прогрессивным ста-новится тот, кто протестует против безудержного прогресса, веду-щего к невосполнимым потерям. Между прочим, мое малюсенькое и навечно исчезнувшее с лица земли Пахтино существовало (по сло-вам стариков) еще до того, как появился Нью-Йорк. И хотя послед-ний стал городом-исполином, он также исчезнет в Небытие, как и Пахтино. С точки зрения Вечности даже миллион лет есть мгнове-ние. А с точки зрения бесконечности пространства Нью-Йорк есть такая же мизерная точка, как и Пахтино. Я не хочу возвращаться в прошлое, но меня не удовлетворяет и настоящее.

— Есть будущее!

— Но я не принимаю то направление, в которое покатился мир.